

из комплекса сообщений, исходящих от противника, возникает неоднозначный образ Пугачева, не лишенный и привлекательных черт.

Рассмотрение эволюции повествовательной системы в прозе Пушкина даже только в одном ракурсе дает представление об интенсивных внутренних процессах в развитии художественного мира Пушкина-прозаика — это именно та сторона его творческой индивидуальности, которая изучена недостаточно.

### Примечания

1. *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. — Т. 7 — М., 1965.
2. *Благой Д. А. С. Пушкин // Соколов А. Н.* История русской литературы XIX в. — Т. 1 — М., 1960.
3. *Бочаров С. Г.* Поэтика Пушкина. — М., 1974.
4. *Вацуро В. Э.* Записки комментатора. — Спб., 1994
5. *Гей Н. К.* Проза Пушкина. Поэтика повествования. — М., 1989.
6. *Петрунина Н. Н.* Проза Пушкина (Пути эволюции). — Л., 1987
7. *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. в 10 т. — Т. 7 — М.—Л., 1949.
8. Пушкин в письмах Карамзиных. 1836—1837 г. — М.—Л., 1960.
9. *Ревякин А. И.* История русской литературы. — М., 1977.
10. *Степанов Н. Л.* Проза Пушкина. — М., 1962.

Г. Г. КРАСУХИН  
(Москва)

### ГРИНЕВ-ПОВЕСТВОВАТЕЛЬ

Странно, что, восхитившись «Капитанской дочкой», Белинский выбрал Гринева — назвал пушкинский роман «чудом совершенства», а у главного его героя нашел «ничтожный, бесчувственный характер» [1. С. 490]. Ведь в совокупности обе эти оценки выходят взаимоисключающими, если видеть, что в «Капитанской дочке» вместе с бытовыми и историческими реалиями минувшего — XVIII столетия оживают и литературные реалии той эпохи: оживает, в частности, и широко бытовавший в то время в европейской литературе тип романа, оформленного как записки романного героя, чья нравственная физиономия (то есть — его характер) непременно отражается в его создании — в изображенных им картинах действительности и в запечатленных им душевных движениях персонажей.

Пушкин особо оговорил авторство Гринева, объявив себя всего только издателем его записок, издателем его рукописи, в которой с разрешения гриневских родственников поменял некоторые собственные имена и нашел для каждой главы «приличный», как выразился об этом сам Пушкин, — то есть приличествующий ей эпиграф.

Заметим: для каждой главы, но не для романа в целом. Его эпиграф извлечен непосредственно из романного текста, чего Пушкин себе, как автору, никогда не позволял, — верный признак, что эпиграф выбран самим Гриневым. Тот вынес в эпиграф своих записок народную мудрость, которую услышал от отца, напутствовавшего сына на армейскую службу, «Помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду», — сказал Петруше Андрей Петрович.

Много лет спустя Петр Андреевич Гринева воспроизвел в первой главе своих записок это отцово напутствие. Но для эпиграфа взял только ту его часть, которая относится к чести — поставил, стало быть, состояние души каждого персонажа в зависимость от того, как каждый распорядится своей честью.

В их числе, разумеется, и шестнадцати—восемнадцатилетний Петруша Гринева — главный персонаж повествования Петра Андреевича, то есть того же Петруши, но постаревшего по меньшей мере лет на тридцать: «ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра» — вот из какого далека описывает он два своих армейских года, пришедшихся на пугачевщину.

Понятно, что возрастная эта разница больше продекларирована, нежели реально воплощена в романе: юный Петруша воссоздан по воспоминаниям. А это значит, что тогдашние его оценки людей и событий неизбежно скорректированы его же последующим долгим житейским опытом, который как бы пропитывает собою воскрешаемые ныне события, оставляя на них мету позднейших авторских обретений.

Ведь очевидно, что не тогдашний, а последующий жизненный опыт Гринева отражен в переданном им собственном состоянии, когда к нему в трактирный номер явился посланник от Зурина, напоминавшего о вчерашнем проигрыше: «Я взял на себя вид равнодушный и, обратясь к Савельичу, который был и денег, и белья, и дел моих рачитель, приказал отдать мальчику сто рублей» (по правилам тогдашнего правописания чужие

цитаты не брались в кавычки, а подчеркивались в тексте. — Г. К.). Хотя, строго говоря, в том, что Петруша осенью 1772 года характеризует своего Савельича строчкой из стихотворения Фонвизина «Послание к слугам моим: Шумилову, Ваньке и Петрушке», анахронизма нет. Фонвизинское стихотворение впервые было напечатано в 1770 году в июньской книжке журнала «Пустомеля». Но чрезвычайно сомнительно, чтобы этот журнал оказался в симбирской деревне у мальчика Петруши. А если он все же там у него оказался, то чрезвычайно сомнительно, чтобы Петруше захотелось вытвердить его наизусть. И заставил сомневаться в этом не кто иной, как сам Петр Андреевич Гринев, который, обронив: «В то время воспитывались мы не понынешнему», дал такую картину собственного воспитания, в какую никак не вписывается журнал с фонвизинским стихотворением, хотя дух Фонвизина ощутимо витает над ней, воскрешая в памяти картину воспитания фонвизинского Митрофана, с которой она явно срисована.

Что в этом нет никакой случайности, показывает сам Гринев, открыто, как установил С. Б. Рассадин, цитирующий «Недоросля» [2. С. 17]. Так что вроде не может быть полной ясности относительно, скажем, обязанностей бывшего парикмахера мосье Бопре в гриневском имении и вообще его роли в гриневских записках. То ли он и в самом деле брался учить Петрушу **«по-французски, по-немецки и всем наукам»**. То ли автор, переписав эту формулировку из «Недоросля» и подчеркнув ее как чужую цитату, сделал своего Бопре легко узнаваемой современниками реминисценцией из прославленной комедии того времени, уподобил его фонвизинскому Вральману — тому самому кучеру, который тоже брался не за свое дело — учить Митрофанушку «по-французски и всем наукам».

А с другой стороны, вспоминая свое детство Гринев чуть ли не тотчас же забывает, что представлял своего наставника-француза отпетым бездельником, который, манкируя своими обязанностями, «предпочел наскоро выучиться от меня кое-как болтать по-русски, — и потом каждый из нас занимался уже своим делом». Словно позабыв об этом, он рассказывает о своем знакомстве со Швабриным, заговорившим с ним по-французски, о французских книгах, которые брал читать у Швабина и благодаря которым «во мне пробуждалась охота к литературе. По утрам я читал, упражнялся в

переводах...» И если бы его знакомство со Швабриным состоялось спустя хоть какое-то правдоподобно продолжительное время после отъезда из родительского дома, где Гринев, если ему верить, не языками занимался, а лоботрясничал на манер фонвизинского Митрофанушки: «жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками». Так нет же! — с того дня, когда он впервые покинул родительское имение, чтобы очутиться в Белогорской крепости, и до того, когда, повинувшись проснувшейся в нем охоте к литературе, засел за переводы с французского, не прошло и нескольких месяцев!

Что это? «Трудно разрешимый на уровне здравого смысла и логики художественный феномен», как полагает исследователь «Капитанской дочки» Н. К. Гей, вспомнивший по аналогии «богатырское взросление Гвидона» — «не по дням, а по часам»? Или самовластно установленный писателем, который решил не считаться с читателями, жанровый прием, когда, как пишет И. Л. Альми, «источки изменения героя вынесены за пределы романной действительности» [4. С. 5]? Или доказательство такой всепоглощающей, гипнотизирующей самого Пушкина его зачарованности Пугачевым, которая, по мнению Марины Цветаевой, заставила автора пренебречь другими, другим: «Пушкин вообще забыл Гринева, помня только одно: Пугачева и свою к нему любовь» [5. С. 88]?

Последнее утверждение, конечно, курьезно. Но и первые два, если вдуматься, курьезны не менее, ибо исходят из убежденности в несомненной прихотливости повествовательной логики «Капитанской дочки», из того, по-другому говоря, что Пушкин действительно «забыл» Гринева — не озаботился поиском психологических мотивировок тем или иным его поступкам.

Между тем, один только Петрушин французский уже обнаруживает некое лукавство автора в описании своего детства и своих отношений с наставником-французом. Впрочем, вот еще одно тому свидетельство: «Швабрин был искуснее меня, но я сильнее и смелее, и Польеиг Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков в фехтовании, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного соперника».

(Да и «несколько уроков» — тоже лукавство, разоблачаемое простодушным Савельичем. Он сви-

детельствует о «серьезной школе: «Проклятый мосье всему виноват: он научил тебя тыкаться железными вертелами да притопывать...»!)

Да, скорее всего мосье Бопре был выпивохой и бабником, за что ж его и прогнали из гриневского дома, но бездельником почти наверняка не был: учил, как и было с ним договорено, своего воспитанника не только по-французски.

Так что его воспитанник попросту дурачит читателя, гримируя наставника под Вральмана, а себя под Митрофанушку. Причем, переключаясь с фонвизинской комедией, цитируя ее, выражает, разумеется, не тогдашний свой опыт — уж это точно было бы анахронизмом: «Недоросль» появился в печати и на сцене чуть ли не десятилетие спустя после описанных Гриневым событий.

Ясно, что в этом случае подражание Фонвизину не может быть простой авторской шалостью, что оно осознано Гриневым и преследует в его повествовании определенную цель.

Нет, речь не о некой намеренной расчетливости повествователя, но о том, что подсказано ему художественной интуицией, свидетельствующей о его душевном такте. Ведь он взялся за повествование о необыкновенной своей удачливости, о чудесном жребии — подарке судьбы. А такой подарок — не столько награда человеку, сколько очень серьезное ему испытание, очень серьезное искушение занестись над другими, возбуждая в других зависть, ревность и подобные им чувства. О том, что Гринев понимает это и даже это подчеркивает, и говорит его комическое снижение собственного образа — уподобление себя всем известному оболтусу — с а м о и р о н и я, которая всегда показатель душевной силы человека, его умения критически смотреть на себя со стороны, объективно оценивать собственные действия.

Конечно, следует учитывать, что эта нравственная черта требует обязательной проверки на качественность, удостоверяющей, что мы действительно имеем дело с самоиронией, а не с маскирующимся под нее душевным кокетством. Но как бы искусно ни притворялся в своем самоумалении тот, кто напрашивается на комплименты, он не способен на чувствительные удары по собственному самолюбию. Кокетка не станет, да и не сможет, как это делает Гринев, выставлять себя в самом неприглядном свете, прилюдно вспоминая

о себе подробности, какие не всякий захочет вспомнить и наедине с самим собой:

«Марья Ивановна почти со мною не говорила и всячески старалась избегать меня... Жизнь моя сделалась мне несносна... Любовь моя разгоралась в уединении и час от часу становилась мне тягостнее... Дух мой упал».

Скажут: а почему бы ему об этом и не вспомнить, если он знает, что все это счастливо кончилось? Но он вспоминает совсем не о том, что окончилось счастливо. Он ведет речь о слабости или даже о бессилии своей души, которую загнал в тупик своим упавшим духом. Он бередит старую рану, вспоминая, как парализовало его волю первое же испытание, выпавшее его чувству, как он запаниковал, как впал в уныние...

Конечно, очень соблазнительно связать этот поступок Гринева с авторским признанием в пушкинском стихотворении 1828 года:

И с отвращением читая жизнь мою,  
Я трепещу и проклиная,  
И горько жалуясь, и горько слезы лью,  
Но строк печальных не смываю.

И мы не избежим соблазна, но заметим при этом, что одинаковые по сути душевные движения выражены там и тут в совершенно разных литературных жанрах. Причем, если лирической поэзии подобная исповедальность предопределена, так сказать, самой ее жанровой природой, то с героя романа спрос совсем другой. Тем более — с героя романа, оформленного как его записки, как мемуары.

Было время, когда и сам Пушкин с большим недоверием относился к мемуарам. «Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя, — объяснял он в ноябре 1825 года Вяземскому смысл своей недоверчивости, своего неверия в непритворное самораскрытие мемуариста... — Не лгать — можно, быть искренним — невозможно физическая... презирать суд собственный невозможно» [6. С. 244].

Но его Гринев показывает, что он изменил свое мнение. Замечательно, что изменить его заставила Пушкина собственная практика: воскрешая привычный для литературы XVIII столетия тип романа, он должен был воссоздать и традиционный для этого романного типа образ героя — обычно добродетельного или блуждающего в поисках добродетели. В этом смысле он не отошел от традиции: его Гринев, можно сказать, — пер-

сонифицированная добродетель. Но Пушкин отошел от традиции, дав Гриневу возможность не резонерствовать по подобию прежних добродетельных героев, а жить «полнокровной жизнью, которую тот запечатлевает в своих записках во всей ее целокупности, не отстраняясь от собственного суда, как это делали прежние литературные герои, не помышлявшие о беспощадном отношении к себе, но им, этим судом, руководствуясь, с ним сообразуясь, к нему прислушиваясь».

В том и состоит художественное открытие Пушкина, что он поставил искренность своего героя под контроль его же «собственного — самокритического и самоиронического — суда, показав, что самокритика и самоирония, дополняя и взаимообуславливая друг друга, обеспечивают человеку, который берется за описание собственных жизненных злоключений, физическую возможность быть искренним. Ибо не дают развиваться в нем опаснейшему душевному недугу — той любви, какой «никого так не любишь... как самого себя».

#### Литература

1. *Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. — М., 1981. Т. 6.
2. *Рассадин Ст.*, Фонвизин. — М., 1980.
3. *Гей Н. К.* Проза Пушкина. Поэтика повествования. — М., 1989
4. *Альми И. Л.* О некоторых особенностях литературного характера в пушкинском повествовании // Болдинские чтения. Горький, 1986.
5. *Цветаева М.* Мой Пушкин. — М., 1981.
6. *Пушкин.* Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1937—1949. Т. 13.

Г. В. КРАСНОВ  
(Коломна)

#### КАВКАЗСКИЕ ДОРОГИ ПОЭТА («Путешествие в Арзрум» Пушкина)

Русско-турецкая война была новым испытанием для русского общества, еще не отошедшего от событий 1825 г. в Петербурге. А. С. Хомяков, отправляясь в Дунайскую армию, успокаивал себя и своих друзей романтизированным, знакомым образом Певца («Ударил час, прощайте други!»):

Быть может, не венец лавровый,  
Кровавый мне готовится венец,  
Но над тобою, рок суровый,

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ  
ХАРЬКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ им. Г. С. СКОВОРОДЫ

ИСТОРИКО-  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
СБОРНИК

к 60-летию  
ЛЕОНИДА ГЕНРИХОВИЧА  
ФРИЗМАНА

Харьков  
1995